И.В. Волкова,
кандидат исторических наук, доцент

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СВЕТЕ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (На примере дореволюционной российской армии)

Вопрос о соотношении военных реформ с процессами социального управления в российском обществе не стал еще предметом самостоятельного рассмотрения в отечественной науке. Между тем он имеет принципиальное значение для страны, обладавшей на большем протяжении истории мощным военным потенциалом и привлекавшей к ратному труду значительные массы населения.

Две российских модернизации – первой четверти XVIII в. и 60 – 70-х гг. XIX в. – исходили из разных отношений к военной реформе. В первой, проведенной Петром I, военнослужащим отводилась роль институциональных организаторов и агентов изменений. Ставка Петра I на регулярную армию в реализации своих планов определялась объективными обстоятельствами: дефицитом твердой опоры среди гражданского населения и трудностью мобилизации сил общественной поддержки. В этих условиях организация воинской службы, адекватная задачам модернизации, и дисциплинарный порядок, гарантирующий четкое исполнение приказов власти, с естественной необходимостью делали армию локомотивом преобразовательного процесса. Военнослужащие новой регулярной армии, особенно гвардейцы, участвовали во всех важнейших начинаниях власти в гражданской сфере: налаживали и контролировали работу бюрократического корпуса в центре и на местах, проводили перепись податного населения (ревизию), собирали налоги. Открытые в 1722 г. переписные канцелярии из военнослужащих, помимо прямого назначения, получили решающие полномочия и в борьбе с голодом, уголовными преступлениями, крестьянскими побегами, бесчинствами помещиков-крепостников.

С 1724 г. началось планомерное расселение полков по провинциям, где им предстояло собирать подушные деньги на свое содержание. Ввиду отсутствия казарменных помещений солдаты и офицеры размещались в избах и домах обывателей. Совместное проживание диктовало необходимость взаимной притирки и выработки неформального устава, содействовало обмену полезными хозяйственными навыками. Военно-гражданское взаимодействие пролонгирова-

лось в рамках трудовых мобилизаций, систематически вовлекавших сельских и городских жителей к работам по возведению укреплений, рытью каналов, прокладке дорог, постройке общественных зданий и корабельному строительству. В каждом подобном эпизоде крестьянину приходилось встраиваться в военные коллективы или в гражданские, руководимые военными специалистами. В любом случае общиннику-крестьянину или жителю городской слободы здесь впервые доводилось окунуться в мир иных привычек и требований, нежели тот, в котором протекала его прошлая повседневность.

Помимо овладения новыми производственными технологиями с помощью армейского аппарата крестьяне впервые приобщались к режиму суточного времени, ежедневному учету трудовых и временных затрат, планированию технологического процесса. В ходе этих работ осваивались передовые элементы организации труда, а в обществе в известном смысле заблаговременно подготавливался резерв индустриального общества.

Пересечение путей селянина и военного либо по маршрутам движения и местам дислокации армии, либо на строительных площадках и корабельных верфях имело далеко идущие последствия. Разнесенное по своим клеткам-общинам крестьянство здесь впервые переходило границы привычных отношений с традиционным набором местных контрагентов (помещик, управляющий, приказчик, священник). Втягиваясь в коммуникации, настоятельно требовавшие принятия роли «другого», оно овладевало механикой отношений поверх социальных барьеров. Именно такой опыт и позволяет разным социальным персонажам вступать в диалог и выстраивать отношения, основанные на взаимопонимании и сопереживании.

По словам французского специалиста по сельской социологии А. Мендра, навык подобного общения не знаком традиционному крестьянскому сообществу: для того, чтобы поддерживать отношения там, где о другом все наперед известно, вовсе не обязательно ставить себя на его место. Наоборот, в индустриальных обществах с множеством свойственных им ролей без этой практики было не обойтись[1].

Итак, в русском крестьянском быту доиндустриальной эпохи намечалась боковая ветвь социализации, отклонявшаяся от накатанных схем общества – гемайншафта. Таким образом, еще до того, как партикуляризм местных сообществ (так называемых изолятов по терминологии исторических социологов) был взломан нарождением всероссийского рынка, индустриальной модернизацией и целенаправленной политикой власти, подготовительная работа была уже проделана военно-гражданским симбиозом, заложенным Петром I.

[1] См.: *Мендра А.* Основы социологии. М., 2000. С. 69 – 70.

По мнению Э. Дюркгейма, отсталое и примитивное общество с принудительным разделением труда и обособленными сегментами начинало разрушаться тогда, когда социальные единицы включались в миграционные движения, вступали в разнообразные эпизодические контакты и долговременные связи вне своих прежних ролей и статусов. Интенсивность подобных соприкосновений увеличивала степень свободы личности. Она же подготавливала почву для самопроизвольного (а не принудительного) разделения труда, выработки договорной солидарности, опирающейся на взаимное согласование и регламентацию социальных функций в обществе[1]. Вызванные петровским военным строительством действия общественных сил закладывали прочный фундамент для подобных общественных трансформаций.

Пожалуй, в этой плоскости следует искать разгадку парадоксальной коммерциализации российского крестьянства в XVIII – первой половине XIX вв., протекавшей на фоне ужесточения крепостного права, сохранения сословной парадигмы общества, замедленной урбанизации. Так, в 1722 –1785 гг. сложилась и активно заявила о себе такая сословная группа, как «торгующие крестьяне», занимавшиеся доходной коммерцией, хотя и без закрепления в городе. Непрерывно, несмотря на трудные условия перехода в сословия мещан и купцов, рос поток переселенцев из деревни в город: в 1719 – 1744 гг. он составлял 2 тыс. человек, в 1782 – 1811 гг. – 25 тыс., в 1816 – 1842 гг. – уже 450 тыс. человек[2]. Крестьянское предпринимательство в стране с крепостным правом неизменно удивляло иностранных наблюдателей – от путешественников до исследователей. По мнению мастера сравнительно-исторического изучения Ф. Броделя, «кишевшие в мелкой и средней торговле крестьяне характеризовали некую весьма свое-образную атмосферу крепостничества в России. Счастливый или несчастный, но класс крепостных не был замкнут в деревенской самодостаточности»[3].

Наконец, армия, наиболее подвижная и связанная с госаппаратом российская организация, в живой практике XVIII – первой половине XIX вв. отчасти подменяла собой еще не существующие средства массовой коммуникации. Подобно странствующим проповедникам, коммивояжерам и бродячим артистам, военные, которые «несли на подошвах сапог пыль дальних странствий», утоляли информационный голод местного населения. Такое общение неуклонно подтачи-

[1] См.: *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. М., 1996.
[2] См.: *Миронов Б.Н.* Социальная история России. Т. 1. СПб., 1999.
[3] См.: *Бродель Ф.* Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV – XVIII вв. Т. 3. М., 1992.

вало отчужденность социальных низов от той жизни, которая кипела за географическими границами их локальных мирков. Оно служило освоению большого массива фактов, отфильтрованных задачами государственного строительства, экономической модернизации, осознания страной своего нового геополитического статуса. Идея государственного интереса в ее военной подаче, глубоко усвоенная крестьянским сознанием, дает ключ к пониманию массового отношения к российским войнам, в частности, дружного отпора, оказывавшемуся интервентам на территории России.

Таким образом, при активном участии военных агентов верховной власти в области гражданских отношений, хотя и с меньшей степенью выраженности, утверждались те же начала, которые действовали в самой военной организации. Ее функция может быть описана как *непрерывная трансляция преобразовательных установок на социальное пространство с неуклонно увеличивающимся радиусом охвата.* Втягивание широких масс населения в зону влияния военной машины нарушало вековую непроницаемость и неподвижность социальных структур в сельских конгломератах, обусловливало их восприимчивость к инновациям и готовность к социальному партнерству.

Серьезные изменения в социальное развитие внесло и само устройство петровской армии. Источниками комплектования армии были рекрутские наборы, которые возлагались на крестьянские и городские общины, прием волонтеров из так называемых вольных гулящих людей (беглые холопы, крепостные, вольноотпущенники), а также полная мобилизация дворян. Для большинства выходцев из низших сословий армия предоставляла пусть небезопасное, зато надежное убежище от голода, холода и прочих напастей, подстерегавших маргинала на жизненном пути. Верховная власть и военное командование гарантировали ему крышу над головой, обмундирование и отличное довольствие. Суточная норма солдатского порциона состояла из двух фунтов (820 г) хлеба, фунта (410 г) мяса, двух чарок (0,24 л) вина, гарнца (3,3 л) пива. Кроме того, ежемесячно выдавалось по 1,5 гарнца крупы и 2 фунта соли. По мере повышения в звании размер порциона возрастал едва ли не в геометрической прогрессии. Так, прапорщику на день полагалось 5 таких пайков, капитану – 15, полковнику – 50, генерал-фельдмаршалу – 200. В кавалерии к порциону добавлялся рацион – годовая норма фуражного довольствия для лошади (для капитана предусматривалась выдача от 5 до 20 рационов, для полковника – от 17 до 55, для генерала-фельдмаршала – 200)[1].

[1] См.: *Хрусталев Е.Ю., Батьковский А.М., Балычев С.Ю.* «Размер денежного довольствия офицера представляется предметом первостепенной важности» // Военно-исторический журнал. 1997. № 1.

Солдат петровской армии получал денежное вознаграждение в размере 10 руб. 32 коп. годовых, в кавалерии – 12 руб. Такое же жалованье выплачивалось в гвардейских частях, однако старослужащие солдаты гвардии получали двойное содержание, а их женам отпускалось ежемесячное хлебное и мучное довольствие. Денежное жалованье офицера было солидным: поручик зарабатывал 80 руб. в год, майор – 140 руб., полковник – 300, а полный генерал – 3 тыс. 600 руб. Характерно, что за время петровского царствования жалованье офицерам пересматривалось в сторону повышения пять раз. Возможность быстро поправить свое материальное и социальное положение определялась тем, что еще по ходу тяжелых боевых действий первой половины Северной войны Петр I ввел порядок производства в офицеры за доблесть и мужество в бою. А уже в 1721 г. указом царя было узаконено правило включения обер-офицеров с их потомством в состав дворянского сословия. Годом позже этот принцип был закреплен в Табели о рангах: отныне любой военнослужащий, достигший первого обер-офицерского звания прапорщика, обретал права потомственного дворянства. В 1712 г. дворянам с офицерским званием царь приказал называться не шляхтичами, как гражданским лицам, а офицерами, тем самым поставив принцип выслуги выше принципа благородства по рождению, а офицерское звание выше аристократического титула.

Впрочем, прокламированный государственной властью престиж был не единственным притягательным магнитом, который влек в офицерский корпус любого новичка, вступавшего на стезю карьеры. Кураж молодого службиста серьезно подстегивался материальными стимулами, в особенности много значившими для вчерашних крепостных, холопов, «вольницы» без кола и без двора.

Революционное значение этих новаций в полном объеме можно оценить лишь с учетом того факта, что по каналам рекрутчины и вольного найма в армию вливались социальные потоки, безнадежно забракованные в своих прежних популяциях. Крестьянская община, занимавшаяся с 1705 г. раскладкой рекрутской повинности, быстро превратила ее в канализационный сток для пьяниц, бузотеров, тунеядцев, воров, сутяг. Эту тенденцию всячески поддерживала и поместная администрация, требовавшая избавления поселений при помощи рекрутчины от людей с уголовными наклонностями и неуживчивым характером.

Другим элементом, который сельские власти старались сбыть с рук, являлись нетяглоспособные крестьяне, рассматривавшиеся как балласт при распределении налогов и повинностей внутри общины. Еще более клейменая публика притекала в армию через прием разгульной «вольницы», впитывавшей в себя наиболее кримино-

генный субстрат. Собрав под военными знаменами социальных париев, армия не только вывела их из социального тупика, но и вручила мандат на неограниченный рост в чинах и званиях. Это решение принесло абсолютный выигрыш как обществу, частично разгрузившемуся от уголовных и полууголовных элементов, так и армии, получившей в свое распоряжение мощный костяк из людей, готовых поставить на кон собственную жизнь ради шанса вырваться из приниженного социального положения. Уже к концу Северной войны в руководящем составе русской армии, главным образом в пехоте, насчитывалось 13,9% выходцев из податных сословий. 1,7% они составляли в командной верхушке самого аристократического рода войск – кавалерии[1].

Помещенное в общую среду обитания с «отбросами» общества и сферу действия единых стандартов службы, родовое дворянство испытало тяжелый психологический шок. Отголоски сильнейших переживаний и злопыхательства по этому поводу доносились из аристократических кабинетов и гостиных и в конце XVIII в. Княгиня Е.Р. Дашкова считала тираническим произволом приобщение дворян к азам рабочих профессий на службе, так как это уничтожало разницу между благородной и плебейской кровью, а просвещенный консерватор М.М. Щербатов усматривал величайшую несправедливость в том, что «вместе с холопями… писали на одной степени их господ в солдаты, и сии первые по выслугам, пристойных их роду людям, доходя до офицерских чинов, учинялися начальниками господам своим и бивали их палками»[2]. Однако именно в этом, доселе незнакомом дворянству ощущении зависти и ревности к успехам своих «подлорожденных» сослуживцев был сокрыт могучий источник социального преобразования. Совместная служба с напиравшими простолюдинами навязывала дворянству соревновательную гонку, которая требовала от дворянства перенимать качества своих «подлорожденных» конкурентов: отвязанную смелость вчерашнего подранка, стойкое перенесение невзгод, быструю практическую обучаемость, мощный посыл к ускоренному движению вверх по лестнице чинов.

Потенциальная возможность для рядового из социальных низов дослужиться до офицерского звания выбивала из рук родового дворянства последний козырь безраздельной исключительности и уме-

[1] См.: *Рабинович М.Д.* Формирование русской регулярной армии накануне Северной войны // Вопросы военной истории России. XVIII и первая половина XIX века. М., 1969.

[2] О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева: Факсимильное издание. М., 1983. С. 14.

ряла сословную спесь. Тяготы и опасности бесконечной походной жизни склоняли любого природного дворянина к тому, чтобы увидеть в своем незначительном сослуживце не бессловесную тварь, а боевого товарища. Высокая интенсивность военных действий, сопутствующая всему петровскому царствованию, придавала особый динамизм становлению военно-корпоративного единства.

Под углом зрения приобретенных в армии взглядов и привычек переосмысливались и функции самого помещика в рамках владельческих правомочий. Прошедшие фронтовыми дорогами дворяне нередко строили свою роль деревенского хозяина по образу и подобию отца-командира при вверенных ему солдатах. Патернализм, «семейственность», радение о крестьянском благосостоянии, свойственные многим тароватым помещикам вроде А.Т. Болотова, В.А. Левшина, Д.М. Полторацкого, своими основаниями упирались в традиции стихийной «военной демократии» эпохи перманентных войн XVIII– начала XIX столетий. Стоит отметить, что помещичий социальный контроль, даже в эпоху максимального распространения крепостного права вширь и вглубь, включал в себя отнюдь не только репрессивные меры, но и всестороннюю поддержку, выполнял зачастую те же функции компенсаторного механизма деревни, что и крестьянская община.

Разумеется, определенные поправки в режиме крестьянской зависимости, восходившие к военно-служебному опыту дворян, не отменяли общего негативного смысла крепостничества как формы межличностных отношений и социально-экономического института. Характерно, однако, что в этом фундаментальном выводе снова лидировали военные деятели. Именно представители военной интеллигенции – участники декабристского движения – первыми пришли к осознанию несостоятельности полумер в крестьянском вопросе и попыткам его разрешить радикальным образом.

Итак, в отличие от Западной Европы, в которой движущей силой доиндустриальной модернизации выступало бюргерство, в России эту функцию выполняла регулярная армия. Тем не менее, по своим итогам эти модернизации оказывались сопоставимыми: в XVIII в. Россия на равных вошла в клуб великих европейских держав, а по некоторым параметрам экономического развития превзошла западные страны.

Российская модернизация второй половины XIX в. поставила впереди военной реорганизации программу социально-экономического и внутриполитического переустройства. Кардинальная перестройка армии, проведенная в 1874 г., явилась заключительным аккордом правительственных преобразований 1860 – 1870-х гг. В самом факте отложенной под занавес военной реформы выразилась иная логи-

ка второй российской модернизации относительно первой, петровской.

Напомним об основных принципах комплектования армии на основе всеобщей воинской повинности, введенной в 1874 г. К ней привлекались молодые люди, достигшие 20-летнего возраста. Сроки службы устанавливались для сухопутных войск 6 лет, для военно-морского флота – 7 лет действительной службы. Вместе с тем в реформе были допущены многочисленные изъятия и льготы – по роду деятельности, образованию, семейному положению, национально-конфессиональному признаку. Так, от воинской повинности по роду занятий освобождались служители религиозных культов – христианских конфессий, ислама и иудаизма, преподаватели, врачи и обладатели ученых степеней. Сокращенные сроки службы устанавливались для выпускников высших, средних и низших и начальных учебных заведений. По уставу 1874 г. для первых срок определялся в полгода, для вторых – в полтора, для третьих – в 3 года, для четвертых – 4 года. Устанавливались отсрочки для учащихся высших и средних учебных заведений.

Таким образом, принципы реформы 1874 г. защищали развивающуюся в стране систему образования, но при этом ослабляли армию, лишая ее наиболее развитых в интеллектуальном отношении призывников.

По национально-конфессиональному признаку освобождению подлежали нерусские туземные жители Средней Азии, Казахстана, Сибири, Астраханской губернии, Тургайской, Уральской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской и Закаспийской областей, Архангельской губернии. На особых условиях к службе привлекалось население Северного Кавказа и Закавказья нехристианских вероисповеданий: для них отбывание воинской повинности заменялось уплатой особого денежного сбора в доход государственного казначейства. Финны привлекались только к службе в особых частях у себя на родине. Войско комплектовалось на основе территориально-смешанной системы. Так, в части, расположенные в великорусских губерниях, обычно направлялось до 30% местных уроженцев, 15 – 25% призывников из окраинных губерний и 45– 55 % остальных категорий призывников.

Как видно, машина призыва действовала наподобие селектора, тщательно выделявшего из отвалов, поступавших на конвейер, все «ценные ингредиенты». Существенные изъятия, которые проходили по линиям социально-статусных различий, превращали армию в рудимент сословно- феодального строя. При самой высокой корреляции между социальной позицией и уровнем образования, сохранявшей силу как пережиток этого строя, постановка вопроса об осво-

бождении по роду занятий, отсрочках по учебе и дифференцированных сроках службы по образованию подчеркивала различия между «черной» и «белой» костью.

Стремление законодателя определить состав «генофонда» нации, назначенного к сбережению для общественно-нужных гражданских занятий, в обществе равных возможностей или, по меньшей мере, открытого доступа к образованию не вызывало бы возражений. Однако в российской среде с резкой правовой, имущественной и образовательной асимметрией социальных состояний такое стремление однозначно прочитывалось как поблажка господам. В глазах демократических слоев населения армия выступала воплощением Левиафана, особенно безжалостного к «малым сим».

В той же плоскости защиты интересов высших страт был выстроен и приведен в действие *институт вольноопределяющихся* в русской армии. Так, для лиц с высшим образованием, поступавших в армию по этой категории, срок службы устанавливался в три месяца. Для выпускников средних учебных заведений – в полгода, а для выпускников учебных заведений третьего разряда (прогимназий, уездных училищ) – в два года. Вольно-определяющиеся, в абсолютном большинстве выходцы из привилегированных сословий, пользовались рядом служебных и бытовых преимуществ. Им обеспечивалась возможность скорого производства в унтер-офицерские и офицерские чины, разрешалось проживать и столоваться на частных квартирах, а не в казармах. Они не привлекались к трудовым повинностям и пользовались уважением офицеров. Еще больше увеличивал дистанцию между рядовым из социальных низов и его коллегой из этой особой группы обычай, по которому кандидат в вольноопределяющиеся подлежал утверждению общим собранием господ офицеров полка. Подобный отбор действовал как дополнительный фильтр, обеспечивавший рафинированный состав этой категории. И как следствие – окончательно отрывал ее от массы простых призывников.

Структура воинской повинности, осложненная льготами по образованию и происхождению, «специальным предложением» военного ведомства избранной публике в виде института вольноопределяющихся повторяла переходную, отягощенную сословными пережитками стратификацию российского общества. Дисперсность нормативов службы уничтожала саму благородную идею реинтеграции нации на базе равной и общей для всех воинской повинности, заложенную в идеальном проекте массовых армий. Отступления от этого базового принципа содействовали закреплению сегрегаций в общественном устройстве. Это обстоятельство объясняет сильное противодействие военному строительству по типу «вооруженного народа» в странах с

глубоко разделенным обществом. Передовые государственные деятели этих стран предвидели тяжелый побочный эффект преждевременной перестройки армии и призывали не торопиться с ведением всеобщей воинской повинности. Крупнейший знаток военного дела в Италии второй половины XIX в. Н. Марселли сравнивал массовую армию с плавильным тиглем, преобразующим разнородные элементы социума в единую общность. Но вместе с тем предупреждал, что такой механизм может заработать не раньше, чем общество избавится от социальных язв. По мнению Марселли, особенности социально-политической структуры Италии не позволяли ей в ближайшей перспективе перейти к массовой армии без серьезных издержек для общества и самих вооруженных сил.

Характерно, что те же опасения разделяли и многие российские коллеги итальянского деятеля: министр просвещения Д.А. Толстой, министр иностранных дел А.М. Горчаков, генерал Р.А. Фадеев. Не менее отчетливо, чем Марселли, они представляли себе цепную реакцию негативных последствий проталкиваемой реформы. И так же прозорливо рекомендовали не форсировать ее на данном этапе. Однако охваченное преобразовательным ражем военное министерство не было склонно внять голосу разума.

Разумеется, министр-реформатор Милютин, вводя образовательный ценз в порядок прохождения службы, и его преемники, продолжая этот курс, руководствовались благими намерениями. Их начинания были призваны сформировать сильный побудительный мотив среди военнообязанной молодежи к получению образования и поддержать крепнущую систему отечественного просвещения. При нормальном поступательном ходе модернизации такой замысел был бы оправдан. Однако в российской пореформенной действительности выбор между хорошим образованием – необременительной службой и необразованностью – тяжелой службой был лишен практической основы. Несмотря на провозглашенный в 1864 г. принцип формального равенства сословий в сфере среднего образования, школа туго поддавалась перестройке. Свои резоны для торможения реформы образования выдвигались как снизу, так и сверху. Если в крестьянских семьях на школу часто смотрели как на рассадник злонравия и ненужную роскошь, отвлекавшую от хозяйства рабочие руки, то среди высшей бюрократии – как на помеху в устоявшемся менеджменте власти. Даже прогрессивный министр финансов, а потом и глава кабинета министров С.Ю. Витте придерживался мнения, что «пока народ темен, им управлять легко»[1]. В результате, по дан-

[1] *Епанчин Н.А.* На службе трех императоров. Воспоминания. М., 1996. С. 48.

ным первой всероссийской переписи 1897 г., в составе населения страны было только 21,4% грамотных.

Как эти тенденции соотносились с динамикой распространения грамотности среди призывников и солдат армии? По официальным данным на 1868 г., удельный вес грамотных солдат был равен 27,7%, однако на деле приближался к 20%[1]. К 1892 г. этот показатель вырос до 54%, а среди новобранцев за тот же период времени увеличился с 9% до 34%[2]. Получалось, что во второй половине XIX в. даже при поставленном армейском ликбезе почти половина нижних чинов не была им охвачена.

Пусть в меньшем объеме, но ситуация повторялась и в начале XX в. Выходило, что инструкция военного министерства от 1867 г., обязывавшая командиров всех воинских частей обеспечить поголовную грамотность в рядовом и унтер-офицерском составе, выполнялась кое-как. Относительно слабая результативность этого предписания доказывается и тем, что спустя тридцать пять лет военное руководство было вынуждено вернуться к данной теме: в 1902 г. снова была подтверждена обязательность всеобуча в армии.

Разумеется, масса неграмотных и малограмотных призывников, с трудом осваивающихся с требованиями боевой и общеобразовательной подготовки, ложилась тяжелой обузой на армию. В этом отношении Россия представляла собой статистически самый неблагополучный случай. Если в начале XX в. в Германии на 1000 новобранцев приходился 1 неграмотный, во Франции – 68, в Австро-Венгрии – 220, в Италии – 330, то в России – от 400 до 500[3].

Издержки низких образовательных стандартов, характерные для отсталых стран, компенсировались удлиненными сроками службы. Для военного строительства всех передовых стран второй половины XIX в. была характерна общая тенденция – постепенное сокращение сроков службы с одновременным увеличением пропускной способности призывной системы. Только в России эта система продолжала работать на сниженных оборотах. Лишь в 1878 г. последовало первое незначительное сокращение сроков службы в пехоте до 5 лет. В остальных родах войск он оставался прежним. Но в 1881 г. снова срок для пехоты был определен в 6 лет, а для специальных войск – в 7 лет. В 1888 г. военное министерство сократило эти сроки на год.

На протяжении второй половины XIX в. Россия удерживала на своей территории самую растянутую по времени практику подготов-

---

[1] См.: *Зайончковский П.А.* Самодержавие и русская армия на рубеже XIX – XX столетий. 1881 – 1903 гг. М., 1973. С. 61.

[2] См. там же.

[3] *Kennedy P.* The Rise and Fall of Great Powers. L., 1988. P. 19.

ки призывников и с самым большим запозданием вносила коррективы в эту практику. Только в 1906 г. военное ведомство решилось на переход к 3-летней службе в пехоте и пешей артиллерии, а в остальных родах войск – к 4-летней. Застойность российской методологии военного строительства была изначально связана с беспрецедентно трудным для военной обработки человеческим материалом. Однако в закреплении и продлении этой застойности сказывалось слабосилие самой военной машины. С учетом высокой доли неграмотных солдат, покидавших стены казармы, эффективность корпуса военных инструкторов и командиров в подготовке кадров массовой армии следует признать невысокой, а запросы самого военного руководства на длительное пребывание под знаменами – мало обоснованными.

Был ли оправдан в глазах массового призывника тот урон, который он нес вследствие своего вынужденного отрыва от места жительства и постоянных гражданских занятий? Одной из важнейших граней этого вопроса являлась комфортность условий содержания, которые предоставляла армия призывникам. «Солдат наш жил в обстановке суровой и бедной. В казарме вдоль стен стояли деревянные нары, иногда отдельные топчаны. На них – соломенные тюфяки и такие же подушки. Покрывались солдаты грязными шинелями», – такую зарисовку казарменного интерьера оставил А.И. Деникин. До русско-японской войны не предусматривалось отдельной статьи расходов на теплые вещи и «тонкая шинелишка покрывала солдата и летом и в русские морозы». Постельные принадлежности и полотенца начали выдаваться только в министерство А.Ф. Редигера в 1906 – 1908 гг., затратившего недюжинные силы для того, чтобы включить в смету военных расходов и этот пункт. Суточный рацион солдатского питания состоял из чая с черным хлебом по утрам (на день полагалось 3 фунта хлеба); борща или супа с половиной фунта мяса или рыбы и каши в обед (после 1905 г. суточная порция мяса была увеличена до $^{3}/_{4}$ фунта); жидкой кашицы, заправленной салом на ужин[1]. Впрочем, по мнению ряда экспертов, пища и условия содержания в казарме для большинства призывников из крестьянской бедноты и городских низов были не хуже, чем те, к которым они привыкли дома. Однако, признаем, и не лучше. Такие условия не вырабатывали ощущения эквивалентного расчета государства с гражданами, уплачивающими ему самый обременительный натуральный налог.

Призывные льготы с сильным креном в сторону гражданских состояний, выделенных престижем и образованием, отодвинули армию

[1] *Kennedy P.* The Rise and Fall of Great Powers. L., 1988. P. 46.

на арьергардные позиции в утверждении норм социального партнерства и со-общественности (консоциативности). Неоднородность условий, на которых привлекались к исполнению воинского долга и несли службу разные категории военнообязанных, парализовала роль «милютинской» армии как инструмента сглаживания противоречий в разделенном обществе. Ее совокупное влияние на контекст социальных взаимодействий пореформенной России может быть раскрыто в разрезе двойной дисфункции. С одной стороны, несмотря на продолжительность, служба в этой армии не способствовала формированию человеческой личности индустриальной эпохи. В частности, становлению таких характеристик, как открытость для новых знаний и экспериментов, независимость мнений и суждений, опора на научную картину миру, ориентация на мобильность, долговременное планирование, активность в сфере публичной жизни[1].

Не стимулируя рационального образа мыслей и поведения, она содействовала озлоблению и накоплению заряда негативных эмоций. Без преувеличения можно сказать, что значительная масса отслуживших свой срок нижних чинов нуждалась в неотложной социальной и психологической реабилитации, которая, разумеется, не предусматривалась и не предоставлялась государственными органами. В итоге служба в армии лишь усиливала компонент аффективных реакций в масштабе социума. Подтверждением тому служит сверхвысокая наэлектризованность солдатской массы, которая со всей отчетливостью проступала на поверхности в периоды ослабления дисциплинарной подпруги. Не случайно в номенклатуре деструктивных социальных движений первое место удерживал солдатский бунт с его безотчетным анархическим порывом и сокрушительностью выпущенных на свободу первобытных инстинктов. Точно так же в плане анархизации общественных связей трудно переоценить значение мобилизаций Первой мировой войны, пропустивших через армейское «чистилище» 16 млн человек.

С другой стороны, антидемократические уклонения в военном строительстве препятствовали становлению нации граждан – необходимой предпосылки современной демократии. Выхолощенная из армейского устроения идея равнообязанных отношений граждан к защите отечества и равно-обязанного расчета государственной власти со всеми категориями защитников оборачивалась отчуждением большой части населения от государства. В конкретных обстоятельствах военного времени эта позиция проявлялась в снижении готовности к риску, экономии личных вкладов в ратный труд, исто-

[1] См.: Опыт российских модернизаций XVIII – XIX веков / Под ред. В.В. Алексеева. М., 2000. С. 135.

щении запаса выносливости, словом, в признаках вырождения воинских доблестей. С этой точки зрения вполне логично смотрелись и трудное течение, и бесславный финал большинства военных кампаний второй половины XIX– начала XX вв. В частности, завершение русско-японской войны еще до того как был исчерпан ресурс сопротивления противнику, массовые сдачи в плен, далеко не всегда оправданные соотношением сил в поединке с противником (так, на одного военнопленного японца приходилось 40 русских; если за годы войны в русском плену оказалось 1700 японцев, то в японском – 70,4 тыс. русских солдат и 1430 офицеров)[1].

Еще более удручающую статистику дала Первая мировая война: по сведениям американского историка П. Кеннеди, в первые месяцы войны около 2 млн потенциальных призывников поспешили жениться, дабы избегнуть отсылки на поля сражений. По официальным данным Ставки за период времени от начала войны и до весны 1917 г. из русской армии дезертировала 201 тыс. бойцов, а по данным вражеских разведок эта цифра достигала 2 млн человек. За тот же период в плен к немцам и австрийцам попало (чаще всего по собственной воле) 1,5 млн русских воинов, в то время как вместе взятые войска союзников на Западном фронте потеряли всего 330 тыс. человек сдавшихся в плен[2].

Нестойкость рядового состава российской армии в глубинных истоках являлась превращенной формой социального протеста против предписанной ему роли скотинки, ведомой на убой в счет тех счастливых баловней судьбы, которым был гарантирован либо белый билет, либо облегченный вариант службы. Российский опыт показывал, что попытка насаждения демократической модели военной организации до того, как были заложены основы демократического строя в стране, с неизбежностью вела к аберрациям самой этой модели. А ее практическая реализация вносила серьезные нарушения в систему общегражданских отношений, создавая препоны и заторы в продвижении модернизации.

Была ли альтернатива российскому военному строительству второй половины XIX в.? Опыт других стран с догоняющим типом развития, собственные уроки успешного российского реформаторства первой четверти XVIII в. показали наибольшую результативность модернизации, сфокусированной на военном строительстве.

По наблюдению американского исследователя модернизаций в развивающихся странах Д. Ральстона, военная реформа в этих стра-

[1] См.: *Иконникова Т.Я.* Очерки истории взаимоотношений России и Японии в конце XIX – 1917 г. Хабаровск, 2001. С. 70.

[2] См.: Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М., 2001. С. 142.

нах была началом вестернизации, раскрывавшим далее веер преобразований и придававшим им системность[1]. Создание боеспособной современной армии сразу же ставило на повестку дня список задач: реорганизация налогообложения и принципов распределения налоговых поступлений; повышение эффективности местных властей в регулировании финансовых потоков; качественное улучшение профессионального военного образования, а затем и базисного гражданского, способного поднять культурный уровень призывников; обновление фонда полезных технологий и организационных установлений в реальном секторе экономики, неразрывно связанном с военно-промышленным комплексом. Вытекающее из приоритетов национальной обороны поэтапное реформирование всех областей общественного развития позволяло прагматично и взвешенно, с точки зрения военных интересов, запускать очередное звено в цепочке трансформаций. При самой высокой сопряженности создания современной армии с ускорением в технико-экономической сфере, с рационализацией управления и перестройкой системы образования такая модернизация имела все шансы состояться как процесс многомерного обновления общества. А военное строительство – увенчаться оформлением массовой, боеспособной армии.

Однако этот план был отвергнут еще на подступах ко второй российской модернизации. Благоприятные перспективы, с точки зрения некоторых военных специалистов (Р.А. Фадеев, С.К. Добророльский, А.В. Геруа), были заложены в сочетании профессиональной армии по американскому образцу с милиционной системой. При сверхдостаточном количестве людей в стране, желающих посвятить себя профессиональной военной службе, проблема контракта с военным ведомством решалась бы легко и без напряжения для общества. Однако и этот вариант был отвергнут.

Какие полезные уроки для сегодняшнего реформирования Вооруженных сил Российской дает опыт дореволюционной России?

Во-первых, он заставляет еще раз задуматься над социальными последствиями дифференциации молодежной группы призывного возраста по отношению к воинской обязанности. Решение Минобороны о сохранении военных кафедр в 35 элитарных вузах страны (при упразднении таковых в остальных), существование незаконных, однако по-прежнему эффективных коррупционных способов уклонения от воинской обязанности, доступных семьям с высоким достатком, вновь возвращают нас к рассмотренной ситуации второй поло-

[1] *Ralston D.B.* Importing the European Army. The Introduction of European Military Techniques and Institutions into the Exta-European World. 1600 – 1914. Chicago and London, 1990.

вины XIX – начала XX вв. Станет ли в ближайшем будущем введение короткого годичного срока всеобщей воинской службы, а также развитие контрактной армии противоядием негативным тенденциям настоящего времени, неизвестно.

Во-вторых, российский опыт прошлого указывает на необходимость разработки и реализации весомых социальных льгот и стимулов для военнослужащих, способных обеспечить постоянный приток в армию молодежи, не сумевшей найти своего места в гражданской жизни. Значение этого фактора возрастает в период глубоких общественных сдвигов, порождающих массу «лишних людей», потенциально готовых к переходу в криминальный сектор экономики. Привлекательная со всех точек зрения и престижная военная служба может, с одной стороны, заметно уменьшить массштаб этого опасного «перетекания», с другой – выступить амортизатором резких социальных противоречий перестраивающегося общества.

В-третьих, военное строительство, поднятое на уровень национально-государственного приоритета, способно придать системность и дополнительный стимул развитию связанных с ним проектов в сферах экономики, науки, образования.